

## *Голос советского права*

На примере «судебного дела против троцкистско-зиновьевского центра», обсуждавшегося в августе 1936 года, и репрезентации этого процесса в газете «Известия» можно проследить, как, с одной стороны, в письменном-типографическом медиуме газеты проявляется и усиливается установка на устность, а весь судебный процесс в значительной мере инсценируется как голосовое событие объединения социума, тогда как, с другой стороны, от имени этого же социума налагается запрет на все формы посредственно-письменной коммуникации и как, таким образом, открывается то беспредельное вербальное пространство, в котором могли артикулироваться безмерно жестокие обвинения против подсудимых<sup>11</sup>.

Основной механизм репрезентации процесса состоит в своеобразно усиливающемся взаимодействии речи прокурора Вышинского и речи публики/читателей газеты. Они являются двумя голосовыми инстанциями, которые в своих высказываниях, требованиях, риторических обращениях и формулах взаимно повторяют-

ся, при этом все время усиливая жесткость высказываний. Издательские статьи и комментарии «Из Зала суда» преследуют при этом задачу устремить внимание на риторические и семантические центры в разрастающихся текстах публики и прокурора. На этой амплификации голосов строится драматургия репрезентации процессов в газетах от 12 до 26 августа.

Амплификация голосов производится с помощью непрерывных ссылок на (мно-)устный статус происходящего. В первую очередь это делается посредством экстенсивного употребления дословных цитат. После короткой, подчеркнуто официальной информации в «Известиях» от 15 августа о том, что прокурор представил дело Зиновьева и Каменева в суд, первая реакция публики на предстоящий процесс занимает треть второй страницы «Известий» за 16 августа, почти полностью состоящей из «дословно» цитируемых голосов из Киева, Тбилиси, Воронежа, Ленинграда, Одессы, Днепропетровска. Все эти голоса распределены на небольшие статьи под короткими заголовками. Сила (вторичной) устности как бы пробивает типографской медиум, что подчеркивается тем, что почти все статьи (как это делалось во всех советских газетах) заканчиваются примечанием, набранным особым шрифтом, о способе их передачи через телефон или телеграф в редакцию. Это усиливает впечатление спонтанности и simultанности происходящего. Этот эффект усиливается и другими способами на уровне самого текста. Цитируемые высказывания не представляют определенных мнений, но являются «живыми» голосами, придавая этим голосам телесные и эмоциональные качества. Ср. например: «О подлых убийцах рабочие говорят, *дрожая от гнева, сжимая кулаки*»; или: «*Гневом и негодованием дышат слова трудящихся, когда они говорят о Троцком, Зиновьеве...*»; «*с возмущением, с ненавистью* говорят о подлой работе троцкистско-зиновьевских бандитов». Несмотря на то, что все высказывания говорят об одном и том же, каждый голос связывается с определенным именем, профессией и статусом говорящего. Например: «стахановец механического цеха № 2 т. Бутенко» или «Машинист молотилки колхоза “Красный пахарь” Шелковского района Федор Попов» («Известия» от 20 августа, с. 4). Важно не то, о чем говорит голос, не смысловые варианты высказывания, но его телесно-конкретное представление в тексте.

В телесном отношении голоса взаимодействуют и усиливаются и таким образом создают «устный» коллективизм, на который текст грамматически, семантически или риторически ссылается. Например: «Нет такого рабочего на фабриках и заводах Киева, который не читал бы сообщения Прокуратуры Союза о раскрытии террористических троцкистско-зиновьевских групп». Эта амплификация голосов и их соединение в общий коллективный голос реализуется и посредством графического и иерархического распределения текста на страницах газеты: отдельные голоса всегда являются соединенными в небольших статьях (заметках) под короткими заголовками, которые объединяются общей надписью: «Трудящиеся СССР охвачены возмущением и глубокой ненавистью к заклятым врагам народа, к презренной троцкистско-зиновьевской контрреволюционной банде. Еще теснее сплачивается советский народ вокруг коммунистической партии, вокруг ее испытанного руководства, вокруг любимого вождя трудящихся товарища Сталина».

Это усиление созвучия отдельных голосов в сплошном коллективном голосе репрезентируется именно как фонетическо-акустический процесс не только в пределах издательского комментария<sup>12</sup>, но даже в своеобразно нарративном, сюжетном плане. В номере «Известий» от 18 августа голосовая реакция усиливается вдвое не только на основе графически разрастающегося текста. В статье «Враг над городом» голосовая реакция связывается с не менее конъюнктурной темой летчиков и обе темы соединяются в одной мощной акустической сцене. Статья начинается описанием Ленинграда, лиризм которого обрывается словами: «Но эта пол-

ная золотого великолепия тишина обманчива». Резко меняется интонация: «Город охвачен гневом, неумолимым, испепеляющим». Текст описывает гул самолетов, возвращающихся с границ страны, которые они бдительно охраняют; гул самолетов смешивается с коллективным голосом трудящихся: «Голоса земли и неба сливаются, крепнут и вырастают в могучую песню гнева. Она звучит сегодня в золотом воздухе Ленинграда».

Не менее важными для стратегии медиальной репрезентации процесса являются в этой статье отношения между зрением и голосом. То, что сообщается зрению, является в высшей мере сомнительным и неопределенным; враг и его действия остаются незримыми. Визуальное пространство оказывается в смысловом отношении пустым; враг определяется именно тем, что его нельзя определить в сфере визуальности: «Враг надевает десятки личин. Он прячется в щели нашего благодушия, нашего ротозейства. Он связан тысячью незримых нитей с международной реакцией и ее агентурой. Он ждет часа, когда можно будет вонзить свои отравленные зубы в цветущее тело страны». Таким образом, эта ориентация на голос и его амплификация связываются с нравственно-этической установкой: только сильному голосу дано добро и право на истребление зла<sup>13</sup>.

Эта установка на устные формы социальности манифестируется не только разными ссылками на голос, но и непосредственно текстуально. Как показывает Уолтер Онг, тексты, которые приобретают в устных культурах статус ценности и которые, таким образом, вызывают потребность запоминания, вырабатывают определенные структуры, т. е. избыточность и формулы выражения (а); эпитизацию (б); фонетическую структурность (в); аллитеризацию и т. д.<sup>14</sup> Все это является характеристикой бесконечно разрастающегося редундантного текста голоса советского народа:

а) Ср., например, основные формулы, которые непрерывно повторяются: «Будем бдительны», «Презрение подлым врагам», «Все подпишутся под самым суровым приговором», «Своей грудью защитим жизнь наших вождей», «Маски сорваны», «Убрать контрреволюционеров с нашего пути».

б) Ср.: *подлый враг, великий Сталин* и т. д.

в) Ср.: «Люди, жившие змеиной заповедью Зиновьева» или ряд аллитераций ключевых слов: *знус — гады — гнев*, вокруг которых строятся синтагматические единицы, как например: «Уничтожить знусных людей знусного дела», «поистине чудовищна знусная сеть двурушничества», «ненависть и гнев», «Зиновьев пискливым голосом прогнусавил — да», «гневное слово советского казачества» и т. д.

В той мере, в какой судебные дела продвигаются, усиливается и коллективный голос. Он создает резонанс в среде тех, кто профессионально связан с письмом. Эти голоса профессионалов письма оказываются контекстуализированными и переосмысленными в сфере устного слова. Народный поэт Дагестана Сулейман Стальский пользуется именно медиумом вторичной устности: «Я узнал *по радио*, что поганые шакалы из троцкистско-зиновьевской банды готовили убийство вождей нашей партии и нашего правительства... Нет слов, чтобы выразить весь свой гнев, все свое возмущение против подлых убийц. Эти гады должны быть уничтожены». Когда в номере «Известий» от 21 августа русские писатели и ученые высказываются (в подборках «Среди научных работников» и «Голос писателей») голосом, «проникнутым гневом к врагам народа», то их высказывания как бы подчинены детскому голосу — стихотворению ученицы десятого класса из города Сталино. Наивное детское слово как бы нейтрализует то фарисейство и те сомнения, которые присущи профессиональному письму. Своим рефреном «Суд вам один — как собак расстрелять» это стихотворение доминирует не только на газетной полосе с высказываниями профессиональных писателей, но и в номере этого дня в целом, повторяясь в форме цитаты в редакционной комментарии на первой странице.

### Преступление письма

В той мере, в какой репрезентация реакции публики сориентирована на устность, речь, допрос обвиняемых и заключительное слово прокурора Вышинского выносят вердикт любым посредственно-письменным формам коммуникации как формам двурушничества.

Как и газетная репрезентация голоса народа, допрос обвиняемых, речь прокурора и самокритика обвиняемых суггеруют фонетическо-акустическую simultанность: пространные дословные цитаты, почти полное отсутствие авторского текста, наконец, в допросах подсудимых основное место отдано формам драматического диалога.

На уровне же аргументации и доказательств происходит демонизация письменности, т. е. демонизация возможности семантической поливалентности. В центре драматургии допросов и логики аргументации прокурора и самой риторической инсценировки является как раз не обвинение в убийстве Кирова и покушении на жизнь Сталина и Ворошилова, т. е. не обвинение в каком либо конкретном *действии*, но обвинение в обмане и «двурушничестве», что теперь и доказывается с помощью письменных работ главных подсудимых Каменева и Зиновьева, которые находятся в центре процесса.

Эта сосредоточенность на письменности как на преступном деле систематично проходит два этапа. Вышинский начинает с допроса Евдокимова, Смирнова, Бакаева, Дрейцера и др., анализируя их функции посредников, которые установили контакт между Троцким и террористическим центром в Советском Союзе (с Каменевым и Зиновьевым). Весь допрос устремлен к выяснению того, кто с кем «был организационно и лично связан», кто с кем, где (преимущественно за рубежом) встречался. Доказательством контакта с Троцким является несуществующий *corpus delicti* — исчезнувшее письмо.

Нарратив об этом исчезнувшем письме имеет свой сюжет: в октябре 1935 года сестра подсудимого Дрейцера (по сведениям следственных органов) привезла из Варшавы «кинематографический журнал», который она получила от сына и агента Троцкого Седова и в котором находилось «написанное химическими чернилами собственноручное письмо Троцкого». В этом письме Троцкий указывал на то, что необходимо непременно взяться за организацию террористических актов против Сталина и Ворошилова. Это письмо было послано Мрачковскому, который его и сжег. Именно на этом несуществующем *corpus delicti* строится доказательство прокурора.

Тот же семиотический механизм действует и на втором этапе процесса, в ходе допроса Зиновьева и Каменева. Так как *исчезнувшее* письмо служило доказательством (мнимой) *фактично-реальной* связи с врагом, теперь *реально существующие* письменные произведения Зиновьева и Каменева используются в качестве доказательства еще более преступной *идейной и семантической* связи с врагом. Репрезентация допроса главных обвиняемых начинается с четко поставленного акцента на проблеме «двурушничества»:

«Вышинский: Как оценить ваши статьи и заявления, которые вы писали в 1933 г. и в которых выражали преданность партии. Обман?»

Каменев: Нет, хуже обмана.

В.: Вероломство?

К.: Хуже.

В.: Хуже обмана, хуже вероломства — найдите это слово. Измена?

К.: Вы его нашли.

В. Подсудимый Зиновьев, вы это подтверждаете?

З. Да.



«Рабочие вечерней смены Московского станкозавода им. Орджоникидзе обсуждают сообщение Прокуратуры СССР о террористической деятельности Троцкого, Зиновьева, Каменева и их бандитской шайки» (Правда. №227. 18.08.1936)



«Трудящиеся Ленинграда с величайшим удовлетворением встретили приговор Военной коллегии Верховного суда по делу троцкистско-зиновьевского террористического центра <...>» (Известия. №199 26.08.1936)

В.: Измена, вероломство, двурушничество?

З.: Да».

Сюжет «двурушничества» продолжает разворачиваться с тем, чтобы в конце концов раскрыть главное преступление Зиновьева, которое состоит не в (приписываемой ему) ответственности за убийство Кирова, а в том, что он, якобы, смел скрыть свое истинное намерение убийства, написав некролог, который он послал для публикации в редакцию «Правды».

Это письменное двурушничество, эта ложь письма является и главной сюжетно-аргументативной линией в окончательной речи прокурора. В центре стоит вопрос Вышинского: «В чем состояло их (т. е. Каменева и Зиновьева) “искусство”? Оказывается, «на первом месте стояла маскировка всеми средствами их истинного преступного лица». Этот вопрос об «искусстве» Каменева и Зиновьева прокурор решает с помощью беспредельно-абсурдного усиления герменевтически-семантической неточности письменного слова. Вышинский не доказывает противопартийные действия Каменева и Зиновьева, пользуясь какими либо реально-вещественными согрего *delicti*, напротив, их «искусство» состоит в письменном сокрытии их якобы реального действия. Так, Вышинский в этом контексте ссылается на письмо Зиновьева, написанное и посланное еще в 1933 году в ЦК партии, в котором «Зиновьев не только отрекается от всех своих прежних ошибок, но и лицемерно клянется в преданности социализму и партии» — при этом он, т. е. Зиновьев, уже якобы организует и подготавливает убийство Кирова. Демонизируя самую практику письма, Вышинский переходит к рассмотрению статьи «Две партии», появившейся 16 июня 1933 года, и некоторых других статей, в которых Зиновьев высказывает преданность партии. Эта лживая практика письма безвозвратно дисквалифицирует подсудимых и выталкивает их навсегда из устной среды советской общественности: «Я позволю себе, товарищи судьи, предупредить вас против этого утверждения Зиновьева. Не верьте ему, что он действительно говорит здесь всю правду до конца... Но где же доказательство этого, как им можно верить, когда они превзошли все представления о вероломстве, коварстве, обмане, измене, предательстве?» Как и в допросе, разворачивание сюжета преступной письменности в речи Вышинского кульминируется рассмотрением некролога, который Зиновьев написал по случаю убийства Кирова.

Та же аргументативно-сюжетная стратегия работает и в заключительном обсуждении «преступного дела» Каменева. Вышинский обращает внимание на статьи Каменева, написанные до 1934 года, связывая их с сюжетом двурушничества, вновь цитируя драматический момент допроса — сцену, где Вышинский подсказывает Каменеву, а тот самообвинительно подтверждает термин «измена». Следуя принципу амплификации, сюжет преступного письма разворачивается здесь в еще более широком круге. В форме доказательства-сюрприза Вышинский указывает на предисловие, написанное Каменевым к изданию Макиавелли в 1934 году. Прося суд не считать это указание «вещественным доказательством», а лишь иллюстрацией «источника» контрреволюционного мышления и действия Зиновьева и Каменева, Вышинский, таким образом, еще раз подчеркивает непосредственную связь письменной практики с политическим действием. Более того, в чисто нарративном плане Вышинский пользуется фигурой Макиавелли для связи письма, т. е. преступной письменной практики, с политической властью. Преступность письма, таким образом, состоит не только в герменевтико-семантической возможности сокрытия истинного намерения, но и в том, что в практике письма уже таится стремление к власти, т. е. дестабилизация традиционных иерархических структур, укрепленных непосредственно-(вторично)устной коммуникацией, — именно та дестабилизация социума, которая и привела Платона в его критике письменности к идее изгнания поэтов из политических структур греческого полиса.

В заключительной речи прокурора, в ее сюжетном разворачивании слово и дело подсудимых непрерывно смешиваются и в конце концов отождествляются. Вышинский резюмирует: «Главное в этом процессе — в том, что они [т. е. Каменев и Зиновьев] претворили свою контрреволюционную мысль в контрреволюционное дело». Как раз это безразличие и отождествление мысли и действия не только противоречит одному из основных принципов формально-письменного права, но является — следуя Уолтеру Онгу — одним из основных качеств дописьменных, устных культур. Для устных культур не существует качественной разницы между словом и действием. Именно это (психотическое) отождествление слова и дела как результат установки на устность и порождает на уровне наррации жесткие обвинения против подсудимых. Этот уровень обвинительного дискурса достигается преодолением вещественной визуальности и переключением на словесно-вербальный способ проявления внутренних картин и представлений, которые внушаются эстетически. Характерны в этом плане неоднократные указания на кинематографию (например, в комментарии «Из зала суда», когда убедительность доказательств прокурора связывается не с логическими категориями, но через сравнение — «как в кинематографе, разворачивается лента уголовных деяний...»).

Рассмотрение дела Зиновьева и Каменева в контексте перестройки на устные формы коммуникации объясняет и трагическую неудачу каждого процесса. Отсюда — риторическая и физическая жестокость по отношению к подсудимым, непрерывно нарастающая, начиная с «Шахтинского дела». Трагическая неудача заключается в том, что с каждым процессом понимание проблематичности письма углубляется, тогда как вещественная основа проблемы, т. е. самое письмо, фактически не исчезает. Скорее наоборот, попытки элиминировать семантическую неуверенность письма (через комментарии и интерпретации) как раз и приводит к количественному нарастанию письменности и, таким образом, тотальному распространению опасности дезинтеграции советского, архаически-устного социума.

#### ПРИМЕЧАНИЯ

1 См. диалог Платона «Федр», 3, 7.

2 См.: *Marshall McLuhan. Understanding Media: The Extensions of Man.* New York, 1964. P. XX.

3 О концепции «медиума коммуникации» («Kommunikationsmedien»), в которую входят не только речь и письмо, но и так называемые «символически генерализирующие медиумы коммуникации» («symbolisch generalisierte Kommunikationsmedien») — деньги, власть и истина см. статью Никласа Лумана (Niklas Luhmann) «Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation» («Невероятность коммуникации») (в кн: *Soziologische Aufklärung 3. Soziales System, Gesellschaft, Organisation.* Opladen, 1993. S. 25—34).

4 Примером установки на устность в советской живописи см. статью автора «Fatale Dokumente. Totalitarismus und Schrift bei Solzhenicyn, Kish und Sorokin» («Роковые документы. Тоталитаризм и письмо у Солженицына, Киша и Сорокина») (Schreibhefte 1995. № 46. S. 84—86).

5 Об этом подробно см.: *Niklas Luhmann. Das Recht der Gesellschaft.* Frankfurt/M., 1995. S. 245—256, 362 и далее.

6 Абстрактность и формализм системы права резко критикует уже Иван Киреевский в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению России» (1852), где римско-западная юриспруденция объявляется «отвлеченно-умственной» и формальной системой, тогда как право в России конкретно связано с народным бытом и «вырастает из жизни» (*И. В. Киреевский. Критика и эстетика.* М., 1979. С. 280). В



определенной мере советская перестройка юридической системы переключается с критикой западного права Киреевского.

7 Здесь и ниже цитируется по изд.: *А. Вышинский*. Советская прокуратура. М., 1948; с указанием страниц в тексте.

8 О А. Я. Вышинском см.: *Arkadij Vaksberg*. The Prosecutor and the Prey: Vyshinsky and the 1930s' Moscow Show Trials. London, 1990.

9 О концепции права в ранней письменной культуре см.: *Eric Havelock*. The Greek Concept of Justice: From Its Shadow in Homer to Its Substance in Plato. Cambridge, MA, 1978.

10 См. прим. 1 и диалог Платона «Политик», X, 1.1 — 1.4.

11 К истории показательных процессов см.: *Wilhelm Ziehr*. Die Entwicklung des «Schauprozesses» in der Sowjetunion. Ein Beitrag zur sowjetischen Innenpolitik 1923— 1938. Berlin, 1970; *Robert Conquest*. The Great Terror. Stalin's Purge of the Thirties. Harmondsworth/Middlesex, 1971; *Hugo Dewar*. The Modern Inquisition. London, 1953; *Marc Jansen*. A Show Trial Under Lenin : The Trial of the Socialist Revolutionaries, Moscow, 1922. The Hague, Boston, 1982; Robert C. Tucker, Stephen F. Cohen (Eds.). The Great Purge Trial. New York, 1965; о постсталинистской эпохе см.: *Yuri Feofanov, Donald D. Barry*. Politics And Justice in Russia: Major Trials of the Post-Stalin Era. New York-London, 1996.

12 Ср.: «По всей стране Советской прокатился мощный гул народного негодования. С могучей силой звучит голос масс, голос миллионов, требующих, чтобы приговор пролетарского суда был суров и беспощаден, чтобы осиное гнездо заговорщиков и террористов было растоптано и уничтожено дотла».

13 Следуя этой логике, голоса подсудимых являются всегда «слабыми» или «пискальвыми» (См.: Известия от 21 августа («Из зала суда»)).

14 См.: *Walter Ong*. Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London-New York, 1982. P. 31—75.